

Сергей
Марцунюк



ПОПОВИЧИ

Когда буду умирать, что мне придет в голову? Что увижу, пропадая? Какую картину ускользающей жизни? Какая фраза подмигнет строкой рекламного неона и затрепещет на губах за миг до безоговорочной ночи? Можно ли заранее, загодя, за годы подготовиться к этим секундам и отрепетировать? Хотя зачем? Ну чтобы не вообразить какую-нибудь ерунду вроде неоплаченного счета за воду или натюр-морта из сосисок и соленых огурцов и не сболтнуть что-то скучное и пустое...

А что не пустое?

Или правильнее молитва?

Вот этот человек, которого сейчас в третий раз несут вокруг храма в лакированном гробу, отделанном белыми кружевами, похожем на кремовый торт, – открытый гроб, но под отдельной тряпицей лицо и под простыней остальное тело, – этот человек умер после возгласа в самом начале вечерней.

Обойдя храм с кадиллом и обдав терпким дымом ладана каждого из прихожан, включая жену и деток, он взошел на солею, откуда всегда проповедовал, и, повернувшись к открытым Царским вратам, повел ектенью своим высоким голосом: «Миром Господу помолимся!» – и сквозь жалобное звучание хора: «Господи, помилуй!» качнулся, упал и застыл, накрытый тяжелым и складчатым золотым облачением. Служба остановилась, пытались привести в себя, вызвали скорую, но всё напрасно и мгновенно: сердце.

В тот вечер он служил один. А на отпевание собралось пятеро священников: в белоснежных ризах они бредут за хоругвями, под медленный колокольный перезвон, морщась от тяжести, иногда спотыкаясь и не прекращая пение. У тех, кто следует за ними, преобладает траур.

Солнце сверкает и, кажется, сходит с ума, возбужденное этой бело-черной, притягивающей и отталкивающей игрой цвета.

Северное небо сине-стеклянное, неживое. Сочная зелень между неровными зубищами камней.

Опускают гроб около ямы на деревянные табуреты.

Белобородый протоиерей, дрожа морщинистой рукой и блестя серебристой ложечкой, крестообразно посыпает ткани рыжеватой землей.

Бледные кисти покойника выпростаны. Кроме них – ничего. Как будто замело человека. И лицо ему замело. Хочется приподнять этот воздух, этот хлопковый плат, и заглянуть напоследок: как ты там?



А нельзя. Считается, священник во время отпевания предстоит Богу, и поэтому не положено видеть лицо.

Медный крест вложен в заиндевевшие пальцы, медное Евангелие на груди.

Сугроб посреди лета.

Мне не повезло, один-одинешенек, а у Сретенских, как обычно бывает в семье священника, ребят хватает: два поповича и две поповны, все погодки, родились друг за дружкой.

Мне двенадцать. На зимние каникулы отправили сюда, в вологодскую деревню, где их отец – настоятель храма, возле которого стоит большой деревянный дом, а вокруг темнеет ельник.

Сюда же приехали Охапкины из Ярославля: батюшка, матушка, двое сыновей и дочка.

Днем мы бьемся и возимся возле снежной крепости на берегу замерзшей реки Шарженка.

Эту чудо-крепость построил глыба к глыбе, ловко вытесав вход и бойницы, старший из детей Сретенских, подросток-великан Никита, о котором говорили: «золотые руки». Он был в любую погоду напоказ без варежек, с пухлыми пугающими пятернями, из-за цыпок похожими на сырники в румяной корочке, иногда в брусничной кровке.

Помогали ему мы все вместе: катали снежные шары, сгребали и приминали снег и тоже ходили к польнье, откуда носили дымящуюся воду. Из ведер ее переливали в лейки и ровно орошали широкие поверхности.

Никита стал скульптором (в основном кладбищенским) и краснодеревщиком, любит крепко выпить и не знает отбоя в заказах, потому что хорош в своем деле.

Он же поставил поодаль трех богатырей, голыми пальцами мастера вылепив из снега, и закрепил водой. Эти ладные одинаковые фигуры, похожие чем-то на него, расцветила гуашью его сестра Дуся.

Витязи стояли уверенно, карауля покой речного льда, золотясь кольчугой, щитами, мечами, шлемами, одинаково румяные и синеглазые, с тремя бородами: черной, желтой и снежно-седой.

Дуся-Евдокия, с детства рисовавшая, стала послушницей в далеком бурятском монастыре, где она пишет и реставрирует иконы. Она раскрасила и крепость, не жалея краски, в багряные и лазурные тона, позолотив два шара, намертво приклеенные к стенному валу как бы с намеком на купола (кресты ставить не стали, был бы перебор).

Вот внутри этой крепости и держали оборону Сретенские, отпрыски старого духовного рода. А Охапкины и я, чьи отцы – священники в первом поколении, пытались крепостью овладеть.

– В бой! За Русь! – возглашал истощенный Петюня, младший Охапкин, норовивший вырваться вперед и сквозь обстрел кубарем броситься в ворота, под ноги к противнику, весь побелевший. Его отшвыривали.

– С нами бой! – кричал он хрипловато.

– Бог! – сурово поправляла сестра Маша, отряхивая сахарную вату его шарфа и смешную розовую шапочку, похожую на кулич в глазури, но спустя недолгое время он снова увлеченно выпаливал свой ошибочный клич.

Впрочем, он же размашисто крестился перед каждой битвой, помахивая голой веткой, как кадиллом, которое минуту спустя превращалось в орудие, и возглашал грозно: «Миром Господу помолимся», сам себе отвечая неким мохнатым многоголосьем, изображающим хор.

Это происходило под одобрительный общий смех, пока не заложила ехидная Лида Сретенская (в будущем суперактивный волонтер; она усердно ищет и, по счастью, часто находит пропавших людей). Тогда взрослые отругали Петюню и нас всех. «Молитва не игра, глупыш, разве ты не знал?» – допытывалась его матушка, стараясь быть мягкой и всматриваясь в глаза с острой тоской, а он обреченно и согласно кивал и отныне перед боем сипел и булькал что-то под нос, видимо, в голове все же проигрывая молебен о победе.

Можно было бы ждать от Петюни служения в церкви, но пошел вразнос, ушел из дома, играл в переходе на гитаре, которую однажды в порыве гнева сломал случайный прохожий, его отец. Петюня стал фотографом, безостановочно перемещается по всему миру, словно не находя приюта, наполняя соцсети то нежными, то резкими кадрами природы-дикарки.

Зато Митрофан из стана Сретенских мог без всякой опаски играть в духовное лицо. Само лицо его я успел подзабыть, и в памяти осталось какое-то светлое восковое пятно внутри суконной ушанки. Он выделялся особенной торжественной дикцией и трагичным голосом, которому помогал красивыми плавными жестами. Митрофан вообще любил проповедовать, что никем не возбранялось.

– Дорогие братья и сестры! – с ледяного вала, поддерживаемый за ноги родными, начинал он горестно. – Давайте помнить, чему учат нас святые. Все мы – ближние, и никого не надо бить сильно, нельзя душить, нельзя в лицо снежком...

Не успевал он закончить перечисление своих страхов, как мимо туда-обратно принимались летать увесистые снаряды.

У него сложилось: стал священником, настоятелем храма в самой Вологде, большая семья.

Мне думалось, священником, а может, и монахом, станет и другой мальчик, бледный и хрупкий Тимоша Охупкин, игравший в войнушку нехотя и неумело. Он комкал снег так нежно, а кидал так робко, что пульки не достигали цели или рассыпались, а иногда в самый разгар сражения просто замирал, очарованно заглядываясь на что-то внутреннее. Очевидно, так он изучал анатомию человека, потому что, отслужив в армии, стал хирургом.

Круто воевали поповны. Дуся и Лида лепили со скоростью заправских стряпух, от них же я получал снайперски точные удары, болезненные, но обычно по ногам, в колени, отчего снег быстро забивал валенки.

В нашем слабом воинстве мне подспорьем была Маша, метавшая сосредоточенно, даже хищно, с тайным жаром возбуждения. Я норовил подбить великана Никиту, маячившего перед воротами своей цитадели, и, когда попадал, ее поджатые губы розовели, размякали и расступались, давая волю радости. Из нее аж выпархивало: «Ой!» или «Ох!» при всякой удаче, а вот получая, она отмалчивалась и еще решительнее нагибалась за ответкой.

Маша отдалилась от семьи и храма, снимала комнату в Москве, работала официанткой в хипстерском баре, там однажды нацедила мне кружку крафтового пива (приветливо-напряженная), вроде у нее случилась несчастная любовь, потом она уехала на остров Валаам, где стала учительницей начальных классов.

Если было слишком морозно, чтобы лепить, мы, сближаясь, армия на армию, швыряли горсти снега в глаза и за шиворот, свирепо ослепляя друг друга молочным паром.

Русская зима, обманчиво миролюбивая голубица Пикассо, несла нас в жестяном клюве и пышно обвевала воинственными крылами...

Мы заметно отличались от всех. Даже облик поповичей был вызовом. Родители обрели нас не только на необычные судьбы, но и на странноватые одежды.

Ребята из соседней деревни, приходившие с другого берега играть, были одеты бедно, но иначе, наряднее в своей пестрой синтетике. Наши одежды выглядели старообразно, подчеркнута несовременно. Строгая аккуратность сочеталась с неряшливостью, которую можно назвать небрежением к мирскому. Все казалось немного мешковатым, шире и длиннее, чем положено, как бы давая вырасти до облачений. В обеих семьях дети донашивали одежды друг друга, которые перелатывались, невзирая на пол. Голорукий Никита был в тулупе и сапогах. У девочек под куртками и полушубками прятались вязаные домашние кофточки. У Петюни черный свитер был заштопан на рукавах шерстяными нитями другого цвета, как сейчас помню, синего. И никакого шмотья с надписями или картинками! Лида, изображавшая примерницу, и вовсе не расставалась с юбкой, изрядно мешавшей ей в снежном побоище.

Я носил потертый, с неудобными заклепками шлем, подаренный пожилой папиной прихожанкой, оставшийся от ее покойного мужа. «Натуральная кожа! На любые холода!» – восхищалась моя мама.

– Че это? – присвистнув, спросил один из деревенских мальчишек. – Седло кобылье?

– Шапка летчика! – отрапортовал я, стараясь произвести впечатление на милую Машу в ее пуховом платке.

Она жалостливо расспрашивала ребят про их житье, те хорохорились, но отвечали, как на исповеди, без утайки и лукавства, может быть, чужая непритворное участие: «Отец помер», «А мой ушел», «Мои работу ищут, трудно приходится...», «Хочу быть музыкантом, хожу в кружок после школы, у нас своя группа, я клавишник, а дома говорят: в слесаря иди, оно вернее»...

– Лучше музыка! – одобрял боевой Петюня. Возможно, тогда в Маше созревало желание отдать себя простонародью.

– Вы только сами не пейте, не курите, – убеждала она ласково, – вы учитесь хорошо, пожалуйста...

Ее перебивала Лида, наставительно, как хозяйка этих мест:

– Скоро тут воскресную школу откроют. Молитвы какие-нибудь знаете, нет? Надо вам в воскресенье в церковь прийти, мой папа – батюшка, он вам правильные книжки даст.

Сретенские были на домашнем обучении, Охапкины посещали гимназию.

Как-то, отстояв литургию, поприслуживав, попев и причастившись, мы, догрызая каменевшие на морозных зубах просфорки, примчались к крепости, где нас уже поджидали ребята.

– Вы че это жуετε? – подозрительно спросил кто-то из них. – Дай куснуть!

– Вам нельзя, – хмуро сообщил могучий Никита.

Деревенские перемигнулись и глянули на нас завистливо и уважительно, будто мы едим нечто волшебное, дети магов...

Но в чем-то кто-то из нас точно им завидовал или чувствовал себя отставшим от них и вообще сверстников. Они смотрели, сколько влезет, телевизор, включая неприличные передачи, выходявшие за полночь, знали всю попсу и матерные песенки групп вроде «Сектор Газа», которые слушали на кассетах.

Матерок деревенских мы, по безмолвному уговору, пропускали мимо ушей, сами не выражаясь. Ушибленный снежком или кулаком мог выдохнуть что-нибудь вроде «Елки зеленые!» или даже «Господи, твоя власть!». Эти ангельские всхлипы звучали на особенном контрасте с тем, как в то же время беззаботно бранились наши мирские знакомцы. Их не одергивали...

Зато одергивали друг дружку резким и трогательным паролем, принятым в том нашем зимнем вологодском обществе: «Не пошли!»

Раз, когда Никита рассказал анекдот про мужа, который успел вернуться, когда женщина с любовником только сели пить чай, я, чувствуя какую-то неполноценность сюжета, вдруг радостно вспомнил другой, слышанный в школе анекдот.

– Возвращается муж из командировки, – начал я, – а жена с любовником лежат такие...

Меня оглушили и заткнули общие возмущенные визги.

Поповичи (это я видел и в разных других поповичах, и, наверное, это присутствовало и во мне) были сразу дикими и деревянными. Тормознутыми и расторможенными. То необузданные, наглые, даже распущенные, вероятно, потому что ощущали себя не такими, как прочие дети, и много времени проводили среди необычных взрослых, то скованные и робкие из-за постоянного благочестивого надзора.

Возможно, они компенсировали запретное тем, что увлеченно обсуждали всякий ад. Как сейчас помню, Петя вдохновенно рассказывает про аварию со сгоревшими людьми, которые скрючились в машине: «прям муравейчики», а Дуся – о том, как сопровождала отца, соборовавшего умиравших: «У одной бабушки вся щека сгнила, и видны зубы золотые». В этом жутковатом трепе был средневековый гротеск.

Однако с очевидным удовольствием поповичи излагали и что-нибудь умиленное, например, про зверей, рыбок, птичек.

– Мы одни дома были, без взрослых... Живем под самой крышей, – торопилась Маша, звякая смешком, вкладывая в свою историю учащенный пульс. – У нас в ванной труба вытяжная. Петя туда пошел и вдруг кричит: «Птицы!» Впустил нас, и правда, как в лесу, птицы поют. И красиво так щебечут: тирили-тирили... Сняли мы решетку, смотрим – птенец в трубе бьется, а его мама сверху заглядывает и утешает. Я Тимоше сказала: рукой достань, а он только перья из хвоста выдрал. Я тогда коробку принесла, и птенец в нее свалился. Пушистый, с желтым клювом. Мы его на балкон отнесли, и сразу его мама прилетела, спустилась к нему в коробку, о чем-то они еще пошебетали и улетели. Я потом в энциклопедии нашла – это белые трясогузки. Ну как белые? Они на самом деле многоцветки – серо-черно-белые, а пишут почему-то просто «белые».

Обычный случай, рассказанный этой статной девочкой с песочно-русой, полной золотистого блеска косой, казался чудесным и удивительным, как иллюстрация Густава Доре из Библии.

– Я слышал, она к смерти, – рассеянно заметил Тимоша.

– Кто? – спросили мы.

– Птица, – сказал он мягко и неуверенно. – Если она влетела – это разве не к смерти?

– Суя! – гулко прервал его Митрофан-проповедник и выдержал обличительную паузу: – Ты зачем сую несешь?

Оказалось, он имел в виду слово «суеверие», которое сократил до этого неологизма.

– Птицы – добрые вестницы, – важно поддержала Лида. – Разве вы забыли: после потопа к Ною голубь прилетел?

– Потоп у нас тоже бывает, – согласилась Маша. – Крыша ржавая...

Мы вдумчиво замолчали тесным кружком, доверчиво принимая и ожидая необыкновенное.

Матушки, щекастая Сретенская и суховато-изящная Охапкина, много судачили о родах, детских болезнях, прозорливых старцах и секретах вкусной и здоровой пищи. Батюшки любили пропустить по бокальчику или стопке, степенно рассуждая о разных церковных течениях, достойных и менее достойных иерархах, далеком Ватикане, вездесущих сектантах, а еще о бандитах, повадившихся в храмы.

– Пришли ко мне, все такие одержимые. «Ты поп? Отпеть надо пацана!», – повествовал отец Василий Охапкин, порывистый, полуседой, с широкой, соль и перец, раздвоенной бородой. – Я им прямо сказал: «Кто такой? Причащался, исповедался? Разбойник, как и вы? Нет, не могу». Они меня схватили, на кладбище привезли. «Грохнем и закопаем. Будешь отпевать?» Я головой мотаю. Там и бросили...

– А я вот, может, и не прав, по-твоему, – весь лучась, возражал отец Иоанн Сретенский, лысоватый и рыжеватый, похожий на открыточного цыпленка, только что вылупившегося из пасхального яйца, – бывает, и джип какой свящу. Но всегда вначале слово говорю. О милосердии. Может, кому-то это словечко в сердечко и упадет.

Вечерами мы пили чай с пирогами, то грибными, то капустными, пока кто-нибудь читал вслух «Детские годы Багрова-внука» Аксакова, «Очарованного странника» Лескова, «Лето Господне» Шмелева... Чаще других с охотой сама вызывалась Лида, получалось у нее старательно и назидательно, так, будто это Псалтырь или жития.

Коренастый Митрофан, по настоянию матери, отчетливо декламировал, сладко задыхаясь и помогая себе ритмическими жестами:

И жало мудрья змеи
В уста замерзшие мои
Вложил десницею кровавой...

Он так и произносил «замерзшие» вместо «замершие», как будто речь шла о стоматологе, колдовавшем над распахнутым ртом после укула заморозки. Иногда после чая Дуся, нарядившись в темно-синее с белыми кружевами платье, играла на электропианино – Чайковского или Свиридова, но обычно тренировалась одна. Чтобы никому не мешать, она надевала наушники, и из ее комнаты долго доносился костяной страстный перестук.

Маша пела. Выпрямившись до тонкого хруста, вздымая малые, невесомые груди – чисто и пронзительно. С увлажненными, потрясенными глазами. Русые брови пушинкой смыкались на переносице.

Она пела за те каникулы лишь дважды. Эту «духовную народную песню», просто и отраднo ложившуюся на подготовленный слух, как снежные хлопья на мерзлый наст, первый раз вразнобой затянули ее родные, а во второй раз пособили и мы все:

Ой блаженный этот путь,
Куда страннички идут...
В Русалим они идут,
А их ангелы ведут.
Аллилуйя, аллилуйя,
А их ангелы ведут...

Выдалась оттепель, и заодно с деревенскими целый день мы весело катали огромные сахарные шары, а потом утрамбовывали горку ногами, лопатами и даже бревном.

Назавтра, когда вернулся мороз, понесли из проруби воду в ведрах. Она расплескивалась, и подступы к черной дыре становились серыми и скользкими, заставляя опасно танцевать.

Никита с расторопностью палача всходил на высокий эшафот по комьям, уложенным и отесанным под ступени, бережно наклонял ведро и медленно лил по гладкому крутому спуску. И так ведро за ведром, покрывая снег все более прочной коркой. Быстро темнело, мы одурело гомонили в великом предвкушении и, взбалтывая кулаками – «камень-ножницы-бумага», – разыгрывали будущие полеты (санок было меньше, чем нас), поэтому не сразу услышали крик.

Протяжный вопль смертельного отчаяния... Первым ринулся на подмогу деревенский паренек, тот самый, который не хотел в слесаря.

Сбегая по тропке берега, я увидел сквозь синие сумерки, придававшие всему потешную неважделищность, как он подлетел к проруби, нагнулся и с силой потянул что-то темное, а сзади его рванул подоспевший Никита, которого обхватил неожиданно проворный Митрофан.

Сказка про репку была разыграна в три счета, а темное оказалось спасенной из проруби Лидой, стонущей и подвывающей. Ее теперь несли домой. Длинная сырая юбка оплела ноги и замерзала скользкой чешуей, похожая на хвост русалки.

Это происшествие испортило весь остаток отдыха, и даже гонки по горке лишились волшебства и задора.

Лида ожидаемо слегла – с кашлем и жаром, в храме отслужили смешанный молебен с разными тропарями – благодарственным и об исцелении, мы ходили по дому на цыпочках, чуткие и тихие, словно принявшие епитимью за тот шумный восторг, из-за которого едва ее не потеряли.

Двадцать пять лет спустя один из нас умер, и вышло так, что, созвонившись, а в основном списавшись, мы решили ехать на отпевание.

Я сел в автобус возле метро «Медведково» и ехал всю ночь. Не спалось – то ли потому, что трясло, то ли из-за мыслей, которые роились в голове все гуще, обжигая щеки. Почему я ехал? Я не знал той близкой дружбы, которая была между Сретенскими и Охапкиными, и, в сущности, ненароком попал в их компанию, после видел изредка некоторых из них, обычно отцов семейств, сослуживших моему папе в Москве. С этими поповичами и поповнами меня соединяла пуповина коротких каникул одной давней зимы. Но что-то заставило бросить все и устремиться на про-

щение к человеку, хотя никогда с ним толком-то и не говорил. Я смотрел в черноту неизвестности сквозь стекло, где смутно отражалось мое чужое, встревоженное лицо, словно бы некий фоторобот, пока оно не растворилось в проступавших полях и лесах, над которыми вновь рождалось розовое светило. Может быть, я ехал, как блудный сын, чтобы припасть к таким же или не таким же, малознакомым и непередаваемо своим, и попытаться утолить сиротство, годами гнавшее меня все дальше и дальше улицами и переулками за теплым порогом церковного детства? Ведь мы же другие, иные, особые, а значит, сколькие бы ни встречались нам на путях наших лет, в этих людях ни за что не будет чего-то того, что мы опознаем друг в друге с полувзгляда. Это наше благословение и проклятие – наверное, есть какая-то смешная и страшная правда в том, что мы одинаково притягиваем бесов-искусителей и ангелов-хранителей. Наверное, есть в нас несмыслимая театральность манер и, может быть, жизненная игра – и одновременно настоящая, диковинная, древняя, пылкая жертвенность и жажда служения...

И все эти обильные слова, дребезжавшие и жалившие изнутри, вдруг рассеялись, и ум мой опустел под траурный звон, среди плачущих женщин и испуганных детей, и тех, кто бодрился верой в бессмертие и светом славной кончины, потому что покойный был призван на небо перед алтарем. Каждый колокол звучал раскатисто по одному разу – от самого маленького до самого большого, – напоминая о возрастающей жизни, а затем звонарь ударял одновременно во все колокола, что означало конец, обрыв, крушение. И опять сначала...

Я брел, спокойный, чему-то немного удивленный, несколько раз споткнувшись о старые плиты, обмениваясь с кем-то тихими кивками и пожатиями (смогли приехать не все), вслед за тремя молодыми священниками и двумя немолодыми, один из которых был несчастным отцом.

На белых веревках они опустили гроб. Зарыли быстро и сверху ловко воткнули крест с черной металлической табличкой, где золотилось на солнце: «О. Митрофан Сретенский, 1981–2017».

Ко мне осторожно подошла Маша, в темном платье и темном платке, из-под которого торчала все та же русая прядь.

Обнявшись, мы молчали.

ТЫ – МОЯ НАХОДКА

Мне нравится стучать кольцом. По камню, дереву, стеклу, пластмассе.

Властно и сердито или задумчиво и деликатно в зависимости от материала. Я не ношу на руке часы. Мне нравится крутить кольцо. Завожу время. Каждый день то бросаю мимолетный взгляд, то, сощурился, всматриваюсь в золотце на своем безымянном, словно сверяюсь с часиками.

Часто к нему пристает мыло, цепляется по краям, пачкает изнутри. За этим надо следить. Мне нравится смотреть на кольцо под водой. Так странно, когда оно смутно светится в смуглой глубине горсти, и мнится: это не оно, не со мной, это не моя плоть...

Я поднимаю его, воздвигаю аркой, надавив снизу подушечкой большого пальца, и заглядываю в потайную зеркальную часть, блестящую, как нож, как изнаночный лед реки под морозным солнцем.

Очевидно, таким образом привыкаю, а привыкнув, перестану его замечать. Хотя дело, может быть, и в другом.

Просто не могу нарадоваться, что женился.

Но как трудно писать о счастливой любви!

Одна моя церковная знакомая давала своей старой угасающей матери заботливые советы. Она говорила: впитывай и вдыхай все красивое и запоминай. Смотри в это хрупкое, светлей лазури небо сквозь эти винно-красные листья, подолгу, как будто зарисовываешь. Тщательно и медленно пропускай в себя краски, как будто впереди экзамен. Та слушалась и вскоре тихо, во сне умерла.

Почему-то по дороге на свадьбу я вспомнил старушку.

Мы вышли из машины у железных ворот, последние двести метров до загса надлежало пройти боковой непарадной стороной ВДНХ. Невеста была в длинном сияющем платье, золотых босоножках на высоких каблуках, ее с самого утра макияжили и укладывали. Я придерживал ее бережно, как незнакомую фарфоровую куклу, опасаясь что-нибудь неловко нарушить, не довести.

Но еще больше я опасался торжественной процедуры, заранее воображая весь кукольный театр: оркестр, чопорная дама-регистратор, согласие брачующихся, могучая книга, чернильное перо, летящие лепестки роз, восторженные группки родственников и друзей, застолье с напутственными тостами и грозовым «Горько!» и после торта – ловля букета пионов, который уже теперь жена бросает через нагую спину незамужним сестрам...

Наш шаткий неспешный ход за какие-то минуты до брака позволял осматриваться вокруг, бездумно и безропотно зависая. Мягко продвигаясь к цели, я всем сердцем, наперекор тревоге, растворял в крови и дыхании увиденное: разлапистый куст яркой сирени или большую каменную урну с торчащим сломанным зонтиком. Остановился, обняв свою милую за теплую сильную шею, приник к розовому липкому рту, окрашивая свой, и внезапно ощутил вожделение. Оторвался, огляделся с азартом.

Я желал заполучить весь этот мир, притянуть его и измять.

Всё на свете манило и соблазняло – следующий куст, только уже белой сирени, первая ржавчинка на гроздьях, мраморный павильон, заставленный ремонтными лесами, влажная земля расходившихся тропинок, азиатка на коленях в зеленом комбинезоне, и отцветшие тюльпаны, которые она выкапывала, и черный безразмерный мешок, где они исчезали, и седой котенок в теньке, лапой гнавший под солнце незримую мышку, – все эти видения жизни нагло будоражили, как обнаженные прелести.

– Ура! – кричали, обступая нас, свадебные люди, и я отвечал им: «Ура!», весело поднимаясь по ступенькам с невестой.

Мы познакомились поздней осенью в старинной музейной усадьбе ее прапрапрадеда под Тулой, куда я заехал по делам к ее старшей родне.

Долго, сбивчиво брел по первому свежевывавшему снегу, между окоченевших берез, мимо серо-стального пруда...

В комнате под лестницей неизвестная мне девушка резала лимонный пирог к чаю (рецепт прапрапрабабушки) и сама была похожа на лимонный пирог.

Она, видит Бог, излучала какое-то цитрусовое сияние. Всё в ней было горьковато-сладкое и необычно милое. Это сложносочиненное бежево-рыже-синее платье с треугольным вырезом, и чуть слипшиеся голубые глаза, и розовые щеки, и лукавый

ротик, и умный смех, обнажавший очень ровные зубы, и золотистые волосы, уютно заложенные за уши, и вялые надменные движения, которыми она расправлялась с именитым пирогом.

Она понравилась мне мгновенно.

Даже сразу захотел ее в жены.

Да, поразила с первого взгляда, а если не верите, доказательство такое: я с ней не поздоровался, миг превратившись в школяра. Там было еще пятеро в комнате ее братья и сестры, я поздоровался со всеми, а ей слабо кивнул, украдкой впиваясь взглядом.

Мне, взрослому мужику, было неловко с ней заговаривать при других, вот еще, подумают, что есть дело до какой-то девчонки...

Однако немедленно сложился коварный подростковый план, как ее не потерять из виду.

– Тут у вас так красиво, – небрежно сказал я в пустоту. – Вот запилил фоточку у пруда, – и, улыбаясь, показал окружающим свой телефон. – А у всех есть инстаграм? – продолжил компанейской скороговоркой, на нее не глядя. – А давайте все задружимся! Ну, вот ты там кто? – начал с сидевшего от нее поодаль. – А ты там есть? – обратился к ней насколько мог равнодушно.

Настя назвалась, протягивая на тарелочке треугольный кусок, посыпанный цедрой и сахарной пудрой.

Теперь я был с ней на связи, чтобы через недолгое время, сотню взаимных лайков спустя, написать в директ и пригласить на свидание.

Как однотипно банальны современные ухажеры!

Я ею пленился и пьянился, еще ничего не подозревая ни про какую «душевную близость».

Но, кто знает, потом мог быть разочарован, не обнаружась у нее безупречный вкус и живой ум (нам есть что обсуждать до скончания века). Мне ужасно нравиться, как она плутает в словах, тянет томную паузу, подыскивая словцо, и, не найдя, заменяет очаровательным неологизмом.

Она разливывает время, важно нахмутив лобик, все обдумывая и планируя, и она же летит через бесконечное лето, легкомысленно напевая с бокалом вина, и, наверное, отсюда ее baby-face.

Она почти не пользуется косметикой. Краска портит это свежее личико, делая его стандартно-кукольным.

У нее просительный мяукающий голосок. Она любит мяукать.

– Ты мур или мяу? – и мягкими губами ищет ответ.

Или:

– Ты мяу или не мяу?

Или:

– Ты меня мяу?

И это так мило, как будто она несмышлениш, босая детка поверх стога сена, для которой жизнь – веселая щекотка.

– Я люблю тебя, мурочка.

Так говорю снова и снова, и мне это обращение никогда не покажется обыденным или пошлым.

– Ты – моя находка, – еще говорю.

Любое касание у нас становится поглаживанием. Мы тонко нежимся кожа о кожу. Обычно, гуляя, держимся за руки, пальцы сцеплены и шевелятся, взаимно ласкаясь. Иногда она резво притягивает к губам мою руку и награждает сильным поцелуем или с заговорщицким видом целует свой указательный палец, словно призывая к тишине, прикладывает к моим губам, а потом снова к своим.

Неуловимая, она все время меняется. Иногда – теплейшая, доверчивый перехлоп глаз, лицо растроганно размякло. А иногда – леденющая, от злости вся подтягивается, бледнеет, узит рот, чеканит слова, выступают скулы и, кажется, твердеют соски. Ей идет злиться.

Она одновременно беззащитна и мужественна, светлая медсестра с фронтального плаката.

А то изысканная статная дама со средневековой скандинавской гравюры: северный абрис лица, строгий кокон волос, платье до пят, гордая посадка головы.

Прежние, разные, рваные, часто прекрасные, неудачи схлынули, как один степной набег. Новое и сильное чувство наполнило всё погожей ясностью, всему придало отградную опрятность. Славно козырнуть среди задушевного выпивона с другом:

– У меня очень хорошая жена.

Слушайте, ну как же прекрасно, что и женитьба, и рождение детей, и, осмелюсь, даже смерть – это и слабость, и сила самой природы...

Ты хочешь эту женщину в жены, ты хочешь от нее ребенка, ты знаешь, что однажды умрешь. В мире есть нечто большее, чем ты сам. Ты способен стать больше себя. Выходишь за свои границы.

Таинственная пища брака. «Как мне вкусно, как мне сладко!» – звонко говорил я, совсем крохой, поедая горку лесной земляники. И про женитьбу хочется не рассуждать и не думать, а так же звонко пропеть: «Как мне вкусно, как мне сладко!»

Земляничное имя Анастасия.

Магнитное поле брака.

Семья держит. Благое притяжение жены, дающее твердость и спокойствие, на любом расстоянии от нее.

Мне давно хотелось влюбиться, но не случалось. И вот, случилось. После первых свиданий и поцелуев я принялся тосковать по ней, как подросток.

Все свободное время, хрустя чипсами, я рассматривал ее фотки в соцсетях; врубал попсовые и рэп-песенки о любви, всякий раз удивленный, что поют прямоком про нас; изучал задорные пионерские ютуб-ролики и шаблонные технические инструкции: «Как влюбить в себя девушку», «Как понять, что девушка влюблена», «Как построить успешные отношения»; даже проходил какие-то идиотские тесты («Поздравляем! Она – ваша!»).

А потом, заученно твердя: «Не пиши ей первый», окунался в прохладную ванную по самое горло, остужая бредовый жар, расплывшийся откуда-то из области солнечного сплетения.

Наконец стал за нее молиться утром и вечером.

Поженившись, мы поехали в низовья Дона, где она проводила каждое детское лето и где отдыхали ее предки, начиная с прадеда, который вернулся на родину после Второй мировой и обрел эти места, напоминавшие ему привычный эмигрантский пейзаж: заросшие берега и непрозрачные воды сербской Тисы.

Разом опростившись, мы разбили палатку под молодым дубом. Мы шатались по безлюдному лесу, балдея от дикого уюта, голые, как первые люди.

Меня, на удивление, ничуть не тревожил и не мучил этот разрыв с привычной московской жизнью, как будто мы всегда были и будем здесь. Как будто в этом и состояла подлинная идея нашего брака – сбежать сюда.

Позади леса лежала степь, наплывавшая пряным духом полыни, чабреца, ковыля и еще каким-то особенным горьким запахом, который Насте в детстве казался признаком приближения змей. Змеи и правда водились – в первый же день сдутая шина гадюки проскользнула под ногами...

На рассвете мы вступили в гладкую, отражавшую розовые, оранжевые, персиковые облачка воду и, делая трудные шаги против течения, сжимая деревянные волокуши – я глубже, как более высокий, жена ближе к берегу, – стремительным полукругом выгребли стайку глазастых мальков. Продели им крючки через темные спинки и, размахнувшись, забросили куда подальше. Закрепили легкие латунные колокольчики на кончики удочек-донок. Вскоре над широкой водой раздалось тонкое и чистое звяканье клева, превращаясь в дивный перезвон.

Настя держала убитого мной (палкой, с одного удара) судака левой рукой за серый хвост и рыбацким ножом умело обрезала колючие плавники, счищала желтовато-серебристую шелестящую чешую, выпускала многоцветные потроха. Хвост и голову с клыкастой пастью, присолив, оставила в земляном погребке, для завтрашней ухи. Остальное, порубив и обваляв в муке, зажарила на костре.

Потом, спасаясь от сорокаградусной жары и настырных ос, мы забрались в облезлую голубую казанку и долго плыли в бензиновом ветерке.

Приплыли на отмель, откуда были видны дымчатые силуэты холмов, и заползли в мутную, похожую на нефилтрованное пиво воду, где пальцы наших ног принались благоговейно покусывать пескаррики.

На обратном пути мы сплавлялись вниз по реке, отключив мотор, по очереди закидывая под берег, в темные коряги удочку с ядовито-пестрой рыбка-обманкой с неприличным американским именем «воблер». Стараясь не зацепиться и надеясь выманить жертву для ушицы – жирного жереха. Но всех жерехов, вероятно, распугали бобры, неподвижно торчавшие в кустах, провожая нас пристальными глазами часовых.

– Видишь эти точки? – Настя показала на верхний слой крутого высокого белесо-песчаного яра: там темнели частые укромные отверстия, напоминавшие горные пещеры монахов. – Знаешь, что это?.. Ласточкины гнезда...

Когда мы вернулись, небо и воду заполнял малиново-розовый закат, почти неотличимый от рассвета, и одновременно проступила, словно бы не твердея, а растворяясь и тая, бледная таблетка луны. Поднимаясь по обрыву, за руку вытягивая жену, я заметил такие же аккуратные дырочки в песке, какие только что видел, но только в миниатюре. Природа повторяла свой замысел. Муравьиные норки? Змеиные гнезда? Спрашивать на подъеме было некстати.

Мы взобрались на склон, и, ощущая знакомую тяжесть желания, я обнял жену сзади, вжимаясь в нее и призывая весь этот свет. Закат сочился в реку, разноцветный, как рыбы внутренности. Физиология заката. Внизу в садке в такт друг другу тщательно дергались сомик, щука и сазан. Водяной уж, покрытый шахматным узором, юркнул в камыши с серебряной рыбка в пасти.

Может быть, счастье с одной дает обладание всем миром?

Бабочка пролетела над осокой, присела на маленький голубой цветок, державно покачивая расписными крылышками. Я приблизился, удерживая дыхание, в предчувствии, которое не обмануло. Я рассматривал невероятный рисунок ее палевых крыльев, не веря и сразу поверив.

На ее крыльях была изображена древняя миниатюра сражения.

Слева под алым стягом наступали всадники на белых лошадях и пешие, все в шлемах и кольчуге, с воздетыми мечами и длинными копьями. На правом крыле им навстречу двигалось вражье войско: тоже лошадки и человечки в доспехах и с оружием. А снизу этого диптиха взвивались брызги крови, как языки огня, и белели отрубленные головы.

Лукаво и слабо она шевелила крыльями, бесстыдно выставив на обозрение тайну. Чью тайну? Быть может, мою, каких-то былых страстей... Я смотрел на эти трепещущие, ветхие от пылицы картинки, как будто на свое неверное отражение в замутненном стекле...

Она захлопнула крылья, и, когда их опять распахнула, я, наслаждаясь тишиной, открыл глаза и увидел жену у воды.

Я полулежал, прислонившись к толстому стволу тенистого дерева. Видно, так сморила усталость. Настя сидела на корточках, с сомом-усатиком в крепких руках, и чистила его слизистые бока щедрой горстью песка, раскачивая, словно баюкает.

Не отрываясь от рыбины, она стала что-то задумчиво напевать. Я уловил отдельные слова: «колечко», «крылечко», но тут неизвестное дерево закрыло мне глаза участливыми ветвями, легкими, но тугими, победными, которые становились все зеленее, гуще, темнее, и я утонул в новом глубоководном сне.

Проснулся, мгновение думая, что и это сон.

Палатку заливали краски рассвета. На подушке розовела наливная щечка тихо спавшей жены.

Я женился не случайно, всё обдумав, но ничего не понимая, с легкой головой...

Так и сделал предложение – в лифте, который ночью поднимал нас домой на пятый этаж.

Медленно, вздрагивая, урча, подмигивая тусклым светом, с бумажками и прочим сором на полу, со стертым, нас искажавшим зеркалом.

Я мог нажать кнопку «Стоп», как маньяк, и не выпускать ее, требуя ответа.

Ждать не пришлось.

ВАЛЕНТИН ПЕТРОВИЧ

Дзы-ы-ынь.

Длинный бесконечный звонок.

Бам! Бам! Бах!

Непрерывные сильные удары.

Чей-то палец давит кнопку, чья-то нога пинает дверь.

Стонет в истошном лае и гремит цепью собака.

– Выходи! Выходи, Валька! Выходи, подлец!

Хозяин вылетел из-за стола, мгновенно помолодев, чувствуя, как лихо перекосила рот влажная ухмылка, а кулаки сами собой наливаются весельем.

– Валя, не надо, – встрепенулась следом жена.

Он рассек воздух элегантно отстраняющим жестом и, нырнув в переднюю, приблизился к двери, которую сотрясал натиск.

И сразу досадливо сник, узнавая разбойника. Сквозь щель сладко и вонько проникал водочный дух. За толстым узорчатым витражом багровело большое губастое лицо. Этот старый и больной приятель-актер жил и пил в то лето у соседа-критика.

– Погоди, Валя, – жена плотно приникла сзади, уткнувшись в спину острым подбородком и обвив сухими руками вокруг ребер. – Пошумит и уйдет... Потом и не вспомнит...

– Ну как такого бить? – в такт ей протянул он и глуховато, но как бы и радушно, повысил голос: – Игорь, чего тебе?

Услышав его и различив пятно лица, тот стукнул кулаком по стеклу.

– Ты что творишь, дурак?

– А ты... – актер, сделав шагок назад, заголосил с новой силой, растягивая гласные и взвизгивая: – А ты что натворил? Думал, мертвые не ответят? Я за них! За Сережу, за Володю, за Осипа! Получай!

Он тонко присвистнул, казалось, подражая зяблику, и хозяин скорее угадал, чем увидел плевков.

– Валя, не связывайся с ним, – жена бережно удерживала от броска, утягивала, оплетая.

Со двора вместе с отрывистым лаем доносился железный звон: осипшая собака дергалась резкими рывками.

– Завистник, циник и подлец... – напевал непрошенный гость, странно пританцовывая на крыльце, будто выуживая пистолет из кобуры, потом замер и замолчал, что-то выжидая, и вдруг снова стал напевать, выпуская журчание, которое ни с чем не спутаешь: мочился прямо на дверь.

– Какая скотина... – хозяин яростно раздул ноздри. – Ну вот и все, – пообещал, легко стряхивая жену, и взялся за щеколду.

С крыльца раздался испуганный крик, налетело хрипкое рычание.

– Сорвалась! – выдохнула жена и толкнула дверь.

Подтягивая ремень одной рукой, другой слепо отбиваясь, отчаянно, по-заячьи вереща, старый актер бежал к калитке, а рыжая дворняга насакивала на него, ухватывая за щиколотки и пытаясь стянуть коричневые клетчатые брюки.

Валентин Петрович вспомнил, что сегодня тоже уже бегал...

На рассвете он сбежал с крыльца, выбежал из калитки, лихорадочно огляделся и припустился во весь дух по дороге между золотистыми кустами. Так он достиг полупрозрачной рощи и, не раздумывая, бросился в нее и побежал, получая в лицо удары веток и запинаясь ногами о корни. Роща была обширная – он думал добраться до станции, и, пока бежал, слышал гудки поезда, но то ли заплутав, то ли опознавшись, выбежал к воде.

Люди всходили на корабль по длинной доске, и он, радуясь, что успеет, устремился к ним. Ступив на доску, ощутил, как дрожат ноги и сбито дыхание. Она оказалась крутая и скользкая, но ведь другие поднялись так легко, не только господа, но вон и та девушка в белой длинной юбке. Теперь они махали ему с палубы в черном дыму. Он сделал последнее усилие и рванул вверх. Он почти

достиг цели, но тут сзади кто-то, вероятно, тоже скользя, схватил его за рубаху и потянул за собой.

Валентин Петрович полетел вниз. Раздался оглушительный гудок.

Он больно ушиб ногу, но мгновенно вскочил, собираясь снова на доску.

Доски больше не было, а корабль, качнувшись, отходил.

– Ну вот и все.

Он распахнул глаза. Безумное убегало сердце. Молочное небо сочилось сквозь белую занавеску. На дворе скулила проржавевшая за ночь собака. Тихая знакомая боль в правом бедре – пожизненный окопчик, вмятина осколочной раны – и игольчатая звонкая россыпь мыслей: «Не выпался. Не засну. Еще поспать. Уже не смогу».

Плотно закрыл глаза, представилась весна, белая махровая сирень у крыльца, посаженная в честь внучки, а следом и она, Тиночка, новорожденная, в пеленках – лежала спящая на столе, постепенно теряя очертания, превращаясь в свежую снежную сирень, и он снова засопел, втягиваясь в темную слякоть забытья.

Эта комната казалась ему капитанской каютой. Круглое окно. Книжный шкаф с многоцветьем корешков. Массивный стол с пачкой чистой бумаги и увеличительным стеклом. Ему нравилось здесь просыпаться.

Окончательно пробудившись, он прошлепал в ванную, где, чутко всматриваясь в себя узкими глазами, словно выслеживая добычу, и шевеля остроугольными ушами, тщательно соскоблил ночную серую щетину. Вернувшись в комнату, по-прежнему голый, стал осторожно и как бы нехотя помахивать у окна руками и ногами, стряхивая паутину света. Китайская гимнастика – несложные упражнения, имевшие поэтические названия: раздвигание облаков, катание на лодке, любование луной. После принял душ, обрызгался цитрусовым одеколоном и, присев у стола, выхватил из ящика тетрадь с черной клеенчатой обложкой, чтобы торопливо, почти панически вывести темно-синими чернилами ручки «Паркер»: «9 сентября. Записываю вчерашний день. Ничего не писал, читал Заболоцкого. Ходил гулять с Эстер полтора часа. Вечером приехала Тиночка. Пили розовое шампанское. Я лег спать около трех. Спал плохо, с перерывами до 10 утра. Солнце светит сквозь березовый листок, приклеенный к окну, еще зеленый, но слетевший в предчувствии неминуемого. Стекла чистые, в лесу – первая желтизна. Красивая смерть лета. Настроение среднее. Живу!»

Последнее время Валентин Петрович каждый день так заканчивал дневниковую запись: «Живу!»

Он облачился в шелковый свекольный халат и пошел вниз скрипящей, по краям заставленной книгами лестницей, каждая ступень которой издавала отдельную ноту. Снизу уже тянуло блаженством – свежемолотым кофе. Просто обставленная гостиная с большими окнами в полстены была роскошно залита солнцем. Немолодая женщина в желтом с розовыми оборками халате сидела за столом, положив ногу на ногу, белая детской коленкой, и намазывала тост клубничным джемом. Он подошел, поцеловал ее в уголок мягкого рта, ответил, что спал нормально, и сел рядом.

Он черпал и прихлебывал свою водянистую овсянку, рассеянно поглядывая на жену, с которой жил вместе больше сорока лет. Светло-рыжие волосы пучком, гладкое круглое лицо, быстрые молодые морщины на лбу, смешливые глаза цвета бутылочного стекла.

Она рассказывала, что утром ходила в магазин, где встретила соседа Вениамина Александровича, который не поздоровался. Валентин Петрович косо махнул рукой, словно отбиваясь от докучливой осы.

– Валя, у тебя ногти отросли, – беспокойно подметила она.

Поднеся к лицу и вытянув длинные пальцы, он ревниво оглядел их:

– Пару дней потерпит.

– Почта пришла, – она указала на небольшую стопку на этажерке возле окна.

Он бодро, словно за удачу, отхлебнул кофе с молоком, придвинулся вместе со стулом и быстро перебрал конверты, скользя глазами по адресам.

Того письма, которое ждал, все равно не было.

– А ты не знаешь, кто такая эта?.. – жена ловко вытащила из-под накрахмаленной салфетки карманный журнал в голубоватой обложке с черными буквами «Синтаксис», нервно пролистав, открыла на нужной странице и прочитала: – Майя Каганская... Я вчера заснуть не могла, подчеркивала. Послушай: «“Алмазный мой венец” написан чужой кровью... Каинова печать проступает на катаевском лбу...»

– Эста, хватит! – перебил раздраженно. – Мне это неинтересно.

– Что они все от тебя хотят? – спросила она плаксивым тоном.

Коротким тупорылым ножиком он внимательно распластывал сливочное масло по кусочку белого хлеба.

Рецензии копились, но он их не читал – просто из-за отсутствия желания.

В июне в «Новом мире» у него вышла повесть про ушедших – Олешу, Булгакова, Есенина, Маяковского, Мандельштама, Пастернака и общую юность – теперь его распинали на страницах газет и журналов и засыпали восхищенными и гневными письмами. Когда-то давно он дал себе обещание не реагировать на критику, быть свободным от чужих мнений. Решенное вошло в привычку, как привычно было по утрам делать гимнастику, бриться, душиться. Долетали слухи, что его проклинаят, собираются подкараулить, избить, отхлестать по щекам, запретить к печати, но почему-то это совсем не трогало.

Даже внучка, привезшая вчера контрабандное эмигрантское издание с ругательной заметкой, поделилась:

– У нас на журфаке все шумят.

– Кто все? – клочковатая бровь вознеслась и изогнулась, воплощая иронию. – И чем недовольны? – уточнил, загадочно мерцая глазами.

– Говорят, – внучка смутилась и объяснила по-детски: – Говорят, что ты... много плохого... выдумал про великих. А себя самым великим считаешь.

Он молчаливо запустил ее слова под своды тайной пещеры сознания и заколыхался от беззвучного смеха.

– Послушай, – шурился, как бы взвешивая и покачивая ее на теплых волнах доверительного взгляда, – а если бы я спросил тебя про них, что бы ты мне рассказала?

– Про кого?

– Про твоих приятелей. Наверное, всякое. А я про своих написал только самую малость из того, что на самом деле было.

И вот теперь жена притащила за стол этот парижский журнал, в котором очередная дура в чем-то его зло обвиняла.

– Чего они все от тебя хотят? – она извлекла из розетки новую ложечку джема и плавно понесла к блюдцу с загорелым тостом.

Хлопнула калитка, кто-то жадно звонил в дверь, осыпая ее ударами. Донесся крик: «Выходи, подлец!»

Клубничная капля обагрила скатерть жирной запятой.

После полудня Валентин Петрович решил погулять. Жена готовила обед.

– Может, не идти одному? – спросила она как бы невзначай, склоняясь над плитой. – Вместе вечером...

Уловив в ее голосе опаску, он отозвался смешком:

– Я же не один...

В белой рубаше и изумрудных вельветовых штанах, напялив приплюснутую горчичную кепку и вооружившись палкой с лакированным набалдашником, он стремительно вышел из дома. Их крепкая, с мужицкой спиной помощница в голубом платке затирала оскверненное крыльцо большой тряпкой и выжимала ее в тазик. Хозяин поморщился от мокрого солнечного блеска и запаха хлорки, резко перебивавшего запах актерской мочи.

Прихватив собаку, вышел из калитки и на мгновение помедлил над вытянутыми и темными, похожими на готические башни, стеблями крапивы. Приблизил губы к почтовому ящику в полуоблезлой серой краске и хулигански подул: ответом была гулкая пустота, больше ни одного письма. Собака, задирая морду, вопросительно гавкнула. Он тронулся, и она понеслась знакомым путем, безродная вестница осени, мимо заборов, дач, трав, деревьев, кустов, огородов, мимо сладостных оттенков разлуки. Она перемахивала канавы и, дуря от шорохов, бросалась в сухую листву и возбужденно каталась.

Прогулка была охотой. Ему хотелось отзываться на все увиденное пускай и не точной, но необычной, первозданной метафорой. Он торопился по нескончаемой галерее, где каждую картину обрамляла туманно-золотистая рама живительного солнца и жалостного увядания. Именно сейчас, среди сияния и тления, подтверждалась его догадка: все на все похоже, все сравнимо со всем...

«Не сравнивай: живущий несравним», – мелькнула строка давно сгинувшего приятеля. Он остановился возле разросшегося куста с глянцевыми ягодами черноплодной рябины, похожими на маленькие боксерские перчатки. Сорвав ягоду, раздавил между языком и нёбом, выпуская вяжущий сок, и так держал, смиренно, как таблетку. Взгляд его, проплыв по узкому, чешуйчатому телу сосны, утонул в безоблачной, словно неживой, вышине. Медово-восковое дыхание земли мешалось с терпким дымом сжигаемых трав, и он, запавшими глазами целуясь взасос с синевой, вообразил, как хорошо легла бы на окрестность мелодия зауспокойной литии – речитатив священника и блаженный женский напев. Оторвался от небес и с резким нажимом прочертил палкой прямую линию, обнажая влажную почву под ветошью листвы. Двинулся дальше. Собака, торкая носом, обнюхивала что-то на обочине, в чем его безошибочно острый глаз опознал еще издали нарядный подарочный мухомор.

Многие цветы уже отцвели, опали и превратились в семена, но не все. Вдоль заборов сочные заросли золотых шаров сменяли невысокие оранжевые фонарики, будто склеенные из ломкой бумаги.

Он уловил горьковатый аромат детства и увидел сквозь просветы на чужом огороде многочисленные кустики бархатцев с ярко-оранжевыми и темно-пожухлыми головками. В детстве их называли черноривцами.

И тотчас нахлынули и прильнули смутные видения... Он продолжал идти, вспоминая какую-то ужасно важную чепуху, например, как однажды ранней весной с одной девочкой совершил загородную прогулку к морю, и на обрыве они собирали дикие фиалки под прошлогодней листвой... Другое время года и жизни.

Последние дни многое напоминало о той далекой девочке... Как там она? Жива ли? Она притягивала мысли, но никакую метафору почему-то не получалось подобрать к ее неуловимому образу.

Страшно и смешно думать, какая бездна времени отделяла его от некоторых событий. Сама жизнь казалась ему приснившейся. Детство и юность определенно были сном, таким странным и недавним. Он родился в Одессе на пороге двадцатого века и хорошо, в деталях помнил себя с малолетства. Провалив экзамены в гимназии, добровольцем, или, как тогда выражались, охотником ушел в огонь Первой мировой. Вернулся в свой город, но война перенеслась за ним, власть менялась несчетное множество раз, заставляя служить то белым, то красным, то снова белым. Он косил петлюровцев с бронепоезда «Новороссия», когда его скосил сыпной тиф, из-за чего он не отплыл, как другие, в спасительный Константинополь, а едва встав с постели, попал под арест, в темную камеру смертников. Чудом избежал расстрела.

А та, от которой сейчас не хватало письма, весточки, привета, успела уплыть, пока он томился в жарком беспамятстве, путешествуя по окраинам потусторонней страны.

В сущности, его с ней ничего не связывало... Но он часто фантазировал, как бы они жили на чужбине.

Их очень много. Их – избыток.
Их больше, чем душевных сил –
Прелестных и полузабытых,
Кого он думал, что любил.

Так он в час ночной московской бомбежки записал в дневник.

Ее звали Зоя – и она была, наверное, единственная из множества.

Они познакомились детьми и провели рядом подростковые годы. Одна компания молодежи из хороших семей: устраивали вечеринки, играли в преферанс, гуляли по набережной, ходили на яхте в открытое море.

Валя и Зоя редко оставались наедине: как-то раз похристосовались на Пасху у белого храма, где его отец был старостой и чтецом, и она смущенно смеялась, подставляя смуглые зарумянившиеся щеки. Он никогда не мог точно воспроизвести ее внешность: невысокая, хрупкая, кареглазая, с темно-каштановыми волосами, имевшими золотистый отлив. Ничего особенного. Простая, пресная, неприметная, но с легкой примесью степной колдовской полыни.

Его томила невозможность объясниться. Он хотел ей сказать, передать то, что чувствует, но терялся и немел в ее присутствии. Тоскующий рыцарь-гимназист, он безмолвно твердил, что навек, навек эта девочка – его судьба и тайна. Тайна, в которой некому сознаться, даже ей самой, ни о чем не подозревавшей и мило равнодушной.

А теперь он часто думал, что безумные события – сначала Мировая, потом Гражданская войны и отмененная казнь, – поломав ход жизни, навек оставили

его подростком, потому что он вспоминал ту космически далекую Одессу и ту влюбленность, как вчерашний день, который хотелось снова и снова торопливо записывать в дневник. «Люблю!»

Он стал подозревать, что ничего у них не получится, еще до революции, когда из грохочущей артиллерии посылал письма манерной поэтессе Ирэн, дочери прославленного генерала, опекавшего его в войсках, хотя думал только о маленькой неброской Зое. И даже кровавое смертоубийство не так волновало, как призрачное ускользавшее счастье с золотистым отливом.

Спустя полвека она отыскалась через общего приятеля, который отслеживал судьбы распавшегося круга: уплыл с ней на одном корабле, но, как участник французского Сопrotивления, смог вернуться в Советский Союз.

А совсем недавно, прилетев на писательские встречи в Америку, Валентин Петрович попросился в Лос-Анджелес и пришел к ней в домик пастельно-розового цвета с аккуратным палисадником и морщинисто-серой пальмой, похожей на слоновую ногу.

Он прожил целую эру, несколько раз поменяв кожу, – рушились страны, гибли миллионы, и сам бывал близок к гибели, но не забывал о ней, как привороженный. Она изменилась до неузнаваемости, расплнела, смуглые щеки потемнели и покрылись пурпурной сеточкой, но это были та же дерзкая улыбка и тот же лукаво-ласковый взгляд. Оказалось, ему неважно, как она выглядит и сколько времени прошло.

Они отправились на побережье, в ресторанчик, где у входа тучный чернокожий мужик играл на саксофоне. На роликовых коньках проносились бронзовые девицы в купальниках.

Валентин Петрович в два счета слопал два бургера с горькой солоноватых чипсов – волнение на свидании способствует волчьему аппетиту. Они тянули из трубочек ванильный коктейль милк-шейк и, поделив даниш с персиковой сердцевинкой, пили травяной чай Celestial Seasonings. Он оборвал бирюзовую бумажную этикетку с ниточки и измельчил на крохотные клочки, которые унесло в кипящий океан. Его рука застенчиво тронула и мягко накрыла ее руку.

– А ведь Вы могли тогда стать моей женой.

– Могла, – согласилась она просто и грустно.

– Неужели Вы не замечали моего отношения?

– Замечала, конечно, – сказала она, неожиданно заискрившись белозубой улыбкой признания. – Молодая была, глупая.

Она рассказывала то, что он и так знал или подозревал: пока его носило на бронепоезде, она обвенчалась с дворянином, офицером, первоклассным голкипером Стефанским. С приближением красных они уплыли в Константинополь. В Одессе умер их новорожденный первый и последний ребенок, оставленный на руках у бабушки, а Зоин брат-белогвардеец был убит на пристани во время бегства.

– Знаете, я убедился: времени не существует, – сказал он невпопад, и оба замолчали, глядя на холодные сизые волны.

Сухая переделкинская листва особенно страстно хрустнула под подошвами, и он с потерянной ухмылкой вспомнил лос-анджелесские чипсы.

Маленький черно-курчавый мальчик в белых штанишках и матроске колесил на своем четырехколесном «Дружке» вокруг старого дуба, цепко держась за сереб-

ряный руль, резво крутя педали голыми ножками в сандалиях. Собака металась рядом и восторженно его облаивала.

– Привет, – воскликнул он бешено и затараторил, убыстряясь. – Меня зовут Гера. Мне пять лет. Родители подарили мне велосипед на день рождения.

Хозяин подозвал собаку пронзительным свистом, прихватил за ошейник, поместил между ног, удерживая вздымающиеся шерстяные бока напряженными икрами. Мальчик выпаливал еще что-то, но его голосок вобрал в себя гул электрички, накативший из-за многоцветной рощи.

Валентин Петрович, пристально и растроганно – лицо разгладила отрада – наблюдал, как нарезает круги, о чем-то трезвоня, мальчик, и не сразу заметил его мать у ворот.

Он знал эту женщину всю ее жизнь, приемную дочь известного поэта, видел ее детство и взросление и теперь празднично кивнул ей, но она не кивнула.

Она молчала и смотрела мимо. Может быть, на собаку? Может быть, ее обеспокоила собака? Нет, она смотрела сквозь Валентина Петровича, статная, в модной импортной кожанке, с гордым сероватым лицом, похожим на камень.

Он развернулся и пошел к дому, медленнее, чем в начале прогулки. Верная сука петляла впереди. Вечером перед сном он долго вертел опаловую открытку с Большим театром – подарок для туриста, и наконец черкнул на обороте: «Неужели у Вас нет потребностей написать мне?»

Спрятал в ящик под тетрадь.

Валентину Петровичу было восемьдесят два.

Сергей Александрович Шаргунов – русский писатель, родился 12 мая 1980 года в Москве. Выпускник МГУ. Член Общества русской словесности и Патриаршего совета по культуре. Сопредседатель Союза писателей России. Лауреат национальной премии «Большая книга», независимой премии «Дебют» в номинации «Крупная проза», государственной премии Москвы в области литературы и искусства, итальянских премий «Arcobaleno» и «Москва-Пенне», Горьковской литературной премии, премии «Terra Incognita», премии правительства РФ в области культуры, Всероссийской литературной премии имени Н. С. Лескова «Очарованный странник», дважды финалист премии «Национальный бестселлер». Книги Шаргунова переведены на итальянский, английский, французский и сербский языки. Сергей Шаргунов – главный редактор журнала «Юность» и сайта «Свободная Пресса».